

О. А. Балла-Гертман

### Прирастая убыванием

Возраст — это совсем не преодоление детства и молодости. Это установление новых отношений с ними.

Детство ведь, много раз кончаясь, не кончается никогда не только в смысле неистощимости и вечной актуальности полученного тогда волею судеб запаса символов и форм, «переживательных матриц». Оно не прекращается ни в смысле роста (растёшь же всегда, даже убывая: прирастает убыванием, а особенно — если вдруг есть — пониманием его), ни в смысле незащищённости перед миром и растерянного изумления перед ним. Календарный возраст всего лишь придаёт этому разные формы внешней маскировки, чтобы хоть какая-то защита была.

Так же и молодость: человек всегда переполнен ею, своим началом, самой динамикой начала, его гулом, размахом, глубиной зачерпывания всего-что-под-зачерпывающий-ковш-попадётся — всегда, даже тогда, когда прожить ему остаётся (существенно) меньше уже прожитого. Это всего лишь потому, что молодость так велика, что не вмещается сама в себя, не ограничивается сама собой. Ей всю жизнь подавай. Или даже больше.

Но отношения с этим — начиная с некоторых пор — уже другие.

Может быть, возраст, приходящий на смену молодости с её вечной, требовательной и ненасытной жаждой новизны, делает человека особенно восприимчивым к смыслам повторения и к самому процессу его. Возникает, если угодно, голод по повторению. То, что в юности отскакивало как от стенки горох, теперь, оказывается, жадно впитываешь, обнаруживаешь в нём множество оттенков и хочешь ещё.

Тем более что чем дольше живёшь, тем острее чувствуешь — о нет — не повторяемость, но единственность всего происходящего. Повторяемость, стремящаяся её компенсировать, на самом деле лишь подчёркивает её, делает эту единственность ещё острее и почти невыносимее.

В поздней молодости, в одной из отчаянных её ситуаций, говорила я не без гордыни и рисовки, что у меня нет

пола и возраста. Того и другого — особенно «того» — к тому времени уже отчаянно хотелось. Зато теперь возраста у меня хоть и нет (возраст — это отчётливая внутренняя стадияльная структура, определённая не столько психофизиологически, сколько, прежде всего, культурно; это вжитость и вработанность в определённые социокультурные роли, релевантные лишь на определённой жизненной стадии), а старость есть — по крайней мере точно будет. Оказывается, так бывает. Старости всё равно, есть у нас возраст или нет. Она, как смерть, приходит и забирает.

А вот и очередное предположение о том, когда и как приходит она. Как детство кончается много раз, так много раз наступает и она, и один из рубежей, очень важный, — такой: даже на уровне внутренних движений перестаёт хотеться «всего сразу», жадного присвоения и удержания мира — независимого ни от каких пониманий того, что чаемое «всё» в твоей маленькой, но гордой жизни всё равно никогда не уместится, и справиться не справишься, и удержать не удержишь. А вот хочется — и всё. Когда, значит, это перестанет быть — или когда, хотя бы, здравые соображения начнут брать осязательный верх над прочими мотивами, — тогда и (блаженная, освобождающая) старость.

Не знаю сию минуту, наступает ли у человека такой этап развития вообще — и когда он, хотя бы в среднем, наступает. Всего лишь, заставая себя за бессмысленной и сильной до бесплодности жаждою «всего» (до бесплодности — потому, что своею силой, следующей из неё торопливостью и хаотичностью она выбивает из рук любые плоды, ничему не даёт созреть), имею предположение о том, что в моём случае, вероятно, ещё нет.

Но она прорастает. Она, как жёлтые листья в начале августа, обещает себя на разных материалах.

Так думается теперь, что чтение каждой книги — по крайней мере столько же присвоение её, сколько смирение перед ней (перед теми формами, которые она в тебя впечатывает, перед теми путями, которыми она тебя внутренне ведёт). Сейчас, в сорок девять, кажется, что больше — смирение, раньше, в начале жизни, чувствовалось, что больше — присвоение. Теперь чтение переживается как непрерывное упражне-

ние в смирении (и в пластичности. Но разве пластичность — свойство и добродетель старости? Не наоборот ли скорее?). В общем — тоже молитва агностика.

Как много раз, во множество приёмов кончающееся детство так никогда и не кончится (напротив того: в дряхлости вернёмся к самым сладким дням беспомощного младенчества, заснём в тот же сон, из которого в младенчестве пробуждались), так никогда не начнётся, вытеснив все прочие возрасты и восторжествовав над ними, и старость. Нет, она, конечно, начнётся положенное ей множество раз, просто вступает при этом в симбиоз со всеми прочими накопленными в человеке возрастами, будет образовывать с ними — как самостоятельное, но не единственное начало — всё новые и новые комбинации. Мир ведь никогда не перестанешь открывать, никогда не перестанешь ему изумляться — просто однажды для этих открытий, для их осмысления и вращения в цельность личности остаётся очень-очень мало времени. Но, по счастью, никогда не знаешь, сколько, что обеспечивает тебя надёжной и блаженной иллюзией своей разомкнутости и бесконечности.

Иногда (верю, что не всегда) возраст — это нарастание ясности.

Я вот даже придумала, зачем терзает молодых — вообще пребывающих ещё в своём начале — людей мысль, она же и чувство, того, что «настоящая» жизнь происходит где-то за их собственными пределами и они, в ней не участвуя, непременно её упускают. (Меня всю молодость протерзало, даже раньше: и часть детства, и всё отрочество, и всю юность, и позже — случилось и после сорока.) Это она затем, чтобы вытягивать нас, гордых самоуглубляться и окукливаться, из собственных скорлуп, заставляя тянуться и расти. Как только мы застаём себя за мыслью (она же опять же и чувство), что настоящая жизнь делается вовсе внутри нас и надо сидеть и её выращивать, — всё, значит, мы уже повзрослели.

Можно расти внутрь.

С другой стороны, если «взрослый» — это тот, кто достиг (умеет достигать) равновесия и согласия с самой собой (не говорю с миром, даже с ближайшим: мир слишком велик, слишком неизвестен — даже ближайший, с ним не дого-

воришься, его не уконтролируешь), кто умеет оптимально, без растрат, распоряжаться собственными ресурсами в собственных целях, да точно определять эти цели, да концентрироваться на них, да не то чтобы не отклоняться в сторону, это всё-таки совсем утопия, но отклоняться так, чтобы этот процесс по своему общему объёму и количеству забираемых сил не преобладал над движением к тому, что назначено «целью», и не забивал бы его; кто не культивирует страдания, сливая невосполнимые силы и ресурсы ещё и в него; кто знает собственные возможности, кто умеет себя понимать и прощать и притом жёстко (да эффективно — с результатами) с себя спрашивать, — вот если «взрослый» — всё это (воплощение, словом, равновесия и меры), тогда мне до взрослости как до луны. Никакой я в свои седоглавые сорок девять лет не взрослый, а нормальный старый подросток, которого, как пламя ветром, бросает во все стороны, то раздувая, то задувая. «Обожжённое ветром пламя», как было сказано много жизней назад в одном моём отроческом стишочке. Вот в точности оно. И по сию минуту.

Ну и ладно. В конце концов что в этом страшного?

И вдруг думается совсем дикая мысль: будто в самом большом объёме накопленного, выросшего за десятилетия прошлого, в самом факте его существования есть несомненное и сильное счастье. Просто потому, что счастье — это полнота жизни.

И думаю я о том, что только теперь, в своих «сороковых» годах, ближе к их концу, научилась быть счастливой (скорее, оно само «научилось») — стало получаться радостно, спокойно (иной раз, правда, со спокойной экзальтацией, по крайней мере со спокойной взволнованностью — такое, оказывается, бывает), доверчиво и с интересом принимать мир, радоваться и удивляться самому факту его (а заодно и своего) существования. По идее, такие чувства (особенно последние — радоваться и удивляться самому факту) должны бы быть принадлежностью молодости. Но в молодости такое в руки категорически не давалось, случилось скорее редкими приступами, не образуя ни фона, ни, тем более, нормы. Сейчас, как ни странно, бывает куда чаще (может быть, цепляюсь за уходящее; очень даже может быть). По

совести, об этом бы молчать, поскольку всё это, разумеется, не свидетельствует ни о критичности, ни о реалистичности, ни, горше того, о большом уме (вполне очевидно, что при [пред]катастрофичном состоянии мира и общества состояния такого рода должны быть признаны по меньшей мере неуместными, если не прямо бессовестными. Как-то так: порядочный человек в подобной ситуации счастливым быть не должен, не имеет права — в этом слишком, недопустимо много от самообмана и слепоты). Но оно само, говорю же, само. Слава Богу, хоть позицию из этого не делаю.

Выглядит примерно так: назапасалась радостью, сырём для счастья и теперь использую этот запас просто потому, что надо же его куда-то девать. Обнаруживаю в собственных внутренних непредставимых карманах, скажем, запахи январского воздуха, жёсткого октябрьского дождя, майского рассвета и делаюсь от них бессовестно счастливой, тем более что в (осязаемой и внешней) реальности этих стимулов счастья нет — я им ничем не обязана.

Вообще же ясно теперь знаю, что это мое сверх всяких причин и вопреки всем здравым соображениям накрывающее меня счастье (в нынешнюю пору, как вы понимаете, особенно уместное. И должно бы быть стыдно за него) не что иное, как защитная реакция (психосоматического организма) на многое сразу. И на собственное приближение вплотную к немислимим пятидесяти годам (с которыми, кроме тяжести, тусклости и увядания, ничего в воображении не связывается, и это притом что внутренний разгон, внутренняя динамика — лет примерно на 35), и на катастрофические социальные и исторические ожидания и воображения (природной бурностью воображательной способности ещё и подогреваемые). (Приходят в резкий диссонанс друг с другом жадная, разнузданная потребность в жизни, в больших ее количествах и в обостренном ее качестве, и ясное осознание того, что запас жизни впереди все меньше. Можно, оказывается, ясно осознать то, что не умещается в сознании.) Запускающееся в душевном организме счастье — своеобразный, не сразу опознаваемый вид истерики. И еще — как бы эндогенная машина времени, сон наяву — исполнитель желаний: отправляет прямиком в молодость, в которой такое замира-

ние и вдохновение перед жизнью было (бы) уместно, которой оно составляет, казалось бы, неотъемлемую принадлежность и в которой у меня было много-много времени впереди, а теперь его нет или думается, что нет, но, во всяком случае, его гораздо меньше, чем было тогда.

Между тем стареющий, уходящий человек делается всё прозрачнее, его личные качества и обстоятельства истаивают, сквозь него всё больше просвечивает мир. Он — как тающая льдинка.

«Свое», чувствуется всё больше, недостойно не только выговаривания, но, кажется, и существования. Его назначение (с некоторого момента жизни) в том, чтобы исчезнуть.

Всё больше хочется, чувствуется нужным (если вообще говорить, то) говорить о том, что больше, значительнее и долговечнее меня. О хоть сколько-то общечеловеческом.

Речь человека, начиная с какого-то возраста (не знаю точно, с какого. У каждого со своего; в моём случае это вообще не точка, а широкая размытая полоса, и, может быть, я сейчас как раз в этой полосе), — речь исчезающего. Исчезающая речь, всё более возвращающаяся в молчание. Становящаяся его формой.

(Ведь словом, даже обращённым только к самим себе, мы вызываем, выманиваем — выдёргиваем, вымучиваем — себя из небытия. И вот всё более сомневаюсь, что стоит себя оттуда вызывать. Слияние с небытием чувствуется всё более естественным. Можно даже, пожалуй, говорить о соблазне небытия.)

Вообще, основным сюжетом, и внешним и внутренним, жизни человека, добравшегося до невообразимого пятидесятого года своей жизни, становятся взаимоотношения с небытием.

Впрочем, может быть, они всегда и были главным (если вовсе не единственным) сюжетом, просто маскировались под другие сюжеты, являлись в иносказаниях. А тут наконец взяли да заговорили собственным голосом.

Бытие и небытие оспаривают человека друг у друга, и первое всё больше, хотя сначала очень неохотно и строптиво, сдаёт позиции. А оспариваемый, будучи совсем честен, и сам не знает, чью сторону принять: соблазнительными и полными преимуществ видятся обе.

Думаю и чувствую о том, что во мне начинается уже последняя свобода.

От потребностей, например, сползающих к минимуму. От того-что-о-тебе-думают-люди. От перспектив. От собственных темпоральных, витальных и экзистенциальных ресурсов.

Ну и от самой себя — всё больше. От потребности в самой себе, от интереса к самой себе.

Ещё она не перешла порогу, а дом её уж пуст и гол стоит.

В этом есть страшный кайф — в таком освобождении. В него затягивает так же, как в детстве и юности затягивало в рост. В начале жизни у человека роман с ростом — трудный, разумеется, полный взаимных претензий, не лишённый сопротивления, но втягивающий и увлекательный. С некоторых пор совершенно сопоставимый роман начинается с убыванием. Молодость отождествляет убывание с тоской и бедой, и я бы сама отождествила какое-то время назад: да, тоска и беда в этом есть, но их роль здесь не исключительна, и они плодотворно сотрудничают с другими элементами.

Очень освобождает понимание того, что в мире ты не имеешь никакого значения. Нет, это совсем не устраняет той самой ответственности, которую обычно считают каноническим признаком «взрослости». Не устраняет, но даёт понять, что у ответственности есть границы (не очень себе представляю, как возможно практиковать ответственность за целый мир, что с нею делать, помимо, предположим, интенсивного внутреннего переживания), за которые та не простирается, не может простирается. И что эти границы не так уж широки: ты имеешь перед глазами обозримую, внятную область приложения собственных усилий. («Взрослость» — это ясность, да. И чувство предела. Степень иллюзорности этого в данном случае совершенно не важна.)

И тут становится кристально ясным, что можно предложить в качестве искомого (мною внутренне) определения неопределимой-аксиоматичной, ускользающей-де от прямого взгляда «ответственности». Она — та самая, что делает «взрослыми» и вырабатывает нам соответствующие, зрелые внутренние структуры, — это область усилий, которые мы готовы

прикладывать именно по внутреннему согласию, а не по внешней вынужденности, когда «ответ» приходится держать перед тем, кто вынуждает. При внутренней «ответственности» адресат ответа — некая высшая (более высокая, нежели высший принудитель) инстанция, которой, как на её вызов, мы и отвечаем всеми этими усилиями, пишем ими послание к ней о себе. («Ответственность» — существование миру в ответ, прочтение его как послание себе и писание себя как ответа.) В случае верующего это, понятно, Бог, в случае неверующего — инстанция куда менее, по моему разумению, внятная, типа внутреннего «я», идеального «я», неперсонифицированной системы ценностей (писать себя как послание системе?! — хоть бы и ценностей...), невесть откуда идущего, но тем не менее почему-то убедительного «голоса совести», Бытия в целом, наконец (это как раз тот адресат, к которому со своей латентной религиозностью предпочитаю адресоваться я). В общем, человек сам себе выбирает инстанцию — будет ли это, допустим, суетный и ситуативный социум или, что, по идее, выше, надсуетный и надситуативный Бог (на место Которого человек с высокой вероятностью благополучно помещает собственное представление о Нём), — делегирует ей часть собственных полномочий в бытии и прикладывает усилия так, чтобы те, предположительно, вписывались в требования этой инстанции, которые (требования) он ставит выше собственных желаний и/или, что и того сильнее, приравнивает собственные желания к ним. Как-то так.

Понимаешь заодно и вот что, вполне вероятно, это тоже примета возраста, и может быть, из тех немногих его примет, что надсоциальны, независимы от общественных конвенций. «Бесцельное», самоцельное и самоценное смакование мира и бытия, проживание его ради самого проживания кажется теперь куда более важным и богатым внутренними возможностями (и более близким к смыслу жизни), чем любое целенаправленное действие. Это последнее узко в своей инструментальности, а самоцельное проживание мира, вчувствование в мир (если он — сообщение нам Творца, не переводимое раз навсегда и без остатка на вербальные языки, так и тем более) гораздо полнее, объёмнее, не говоря уж о том, что оно способно и содержать в себе, и порождать из себя если и не все цели, то много разных.

Оно предшествует всем целям и пост-шествует им, порождает их и вновь поглощает. В нём в конечном счёте гораздо больше правды.

Оно — фон и основа, а целенаправленные действия на этом фоне и (живом, дышащем, текучем) фундаменте — лишь преходящие фигуры.

Оно первично, а целенаправленное — вторично.

И вот чем дольше живёшь, тем прозрачнее делается целенаправленное, тем яснее проступает за ним его, предшествующая всем целям, превосходящая их все основа.

Иной раз начинает казаться даже и то, что «просто» чувствовать мир — куда больше и важнее, чем его понимать, хотя бы уже в силу условности, преходящести и частичности всех пониманий.

Но как всё-таки странно, что из одного и того же материала — из одного и того же комочка изумлённого, смятенного, обожжённого миром человеческого вещества — можно сделать, ничего к нему извне не добавляя, ничего никуда не убирая, и младенца, и отрока, и молодого, и взрослого, и старика. И всё это будет один и тот же человек, один и тот же, с единой непрерывной чувственностью, с единой — и не такой уж длинной — линией памяти, натянутой между первой и последней точками, легко просматриваемой из конца в конец.

Если уж это — не доказательство бытия Божия, то я уж и не знаю.

Вот ходишь и думаешь: возраст — это модус существования, угол наклона души к бытию, а количество прожитых лет — только способ этого модуса достичь; количество лет здесь инструментально.

Другой вопрос, что без этого, именно вот этого инструмента в его количественном объёме ничего настоящего не будет.

Ещё думаешь: возраст — это, подобно всякому инструменту, совокупность возможностей (которая, понятно, иначе как в комплексе с невозможностями не выдаётся), всякий раз — во всяком возрасте — более-менее уникальная: вполне возможно, каждый возраст — ну не каждый год, конечно, а каждый жизненный этап — позволяет нам видеть нечто такое, чего другие не показывают. Количество

прожитых, «просуществованных» лет — это всего лишь цена, которую приходится платить за соответствующую совокупность возможностей. Зато, раз ставши нашей, она теперь никуда уже от нас не денется: всегда, в любой момент, может быть извлечена (из запасов моделей мироотношения) и использована, прожита сколько угодно раз. Можно, конечно, растерять умение пользоваться моделями, давно бывшими в употреблении, но можно ведь его и не терять, сохранять контакт с ними со всеми, только доставать почаще надо из запасников, проживать, чтобы живые были. Это как с языками: чтобы они оставались действенными формами мировосприятия и не забывались, на них надо говорить, думать и жить.

Возраст — один из языков бытия. Одно из его многоязычий.

Разные возрасты добывают для культуры разные смыслы. Возраст, всё возрастное состояние в целом — большой орган для смысловосприятия; разные возрасты восприимчивы к разным смыслам.

Старение и старость нужны затем, чтобы добывать смыслы старения и старости, чтобы иметь возможность увидеть то, чего внутри других возрастов не разглядишь, и отволочь в общий муравейник. Старение — это тоже возможность. Или даже их совокупность.

Культура — большая копилка, большой запасник форм и средств, куда каждый тащит своё — хоть веточку, хоть ниточку, где они, хранясь, вступают друг с другом в причудливые взаимодействия, и откуда каждый может взять, при необходимости, то, что ему нужно.

Так, культура накопила уже изрядно моделей старения и его толкования, и, справляясь с собственным, мы всегда можем запустить туда руку и нащупать там какие-нибудь инструменты себе в помощь.

А в благодарность положим туда то, что сами добыли. Кому-нибудь пригодится.

Чем не ответ на вопрос о «смысле жизни»?